

Кавелин К.Д. Наш умственный строй

Кавелин К.Д. Наш умственный строй // «Вопросы философии». Институт философии АН СССР. – М.: «Правда», 1989.

Наш теперешний умственный строй, если в него хорошенько вдуматься, едва ли не беспримерное явление в истории; верно то, что ни одно из современных европейских обществ не представляет ничего подобного.

Прислушайтесь к толкам мыслящих и просвещенных людей всевозможных направлений и оттенков, – и везде услышите одну и ту же жалобу: мало у нас производительности, слишком мало труда, энергии, выдержки. В уме, талантах, способностях – нет недостатка, но они пропадают даром, вырождаются в пустоцвет. Куда ни обратиться, во всем сильно чувствуется недостаток осмысленного и капитализированного труда. Оттого малейшее, ничтожнейшее дело тормозится у нас громадными препятствиями, превышающими силы одного человека. Наталкиваясь на них на каждом шагу, всякий побьется-побьется да и сложит руки и ничего не делает.

Несогласные ни в чем, мы все совершенно согласны в этих сетованиях и расходимся только в объяснении, отчего это у нас так? Одни, большинство, сваливают вину на внешние обстоятельства, другие – на нашу будто бы прирожденную вялость и дряблость, причины которой ищут в этнографических, географических, климатических и тому подобных условиях.

Допустим, что эти объяснения более или менее справедливы. Что ж из этого? Должно быть, на них нельзя успокоиться, когда жалобы не только не прекращаются, а, напротив, из года в год усиливаются. Нам, волей-неволей, поставлена задача, которая настойчиво напрашивается на решение и которой, видно, нельзя обойти рассуждениями, положим, очень убедительными, о том, откуда она взялась и почему решить ее невозможно. Объяснения, очевидно, не исчерпывают предмета; да они и не могут его исчерпать. Нам нужно дело, труд, работа, то, что возможно, то, что должно быть, а наши рассуждения обнимают только то, что было и есть. Удовлетворить нашим требованиям может только дело, а не умствования. И у нас наступает, если уже не наступил, один из тех

– 308 –

фазисов развития, когда мыслящее отношение к действительности, к себе и окружающему стремится перейти в деятельное, творческое. На смене этих фазисов одним другим вертится вся жизнь и отдельных лиц, и человеческих обществ. Работа всегда прерывается остановкой, чтоб подумать о том, что сделано и как вперед вести дело; а потом опять начинается работа.

Если наши жалобы не пустые фразы, не праздные слова, а выражение продуманной и прочувствованной потребности, то такому нашему расположению и настроению должны бы, кажется, отвечать наши убеждения и взгляды. Когда человек говорит, что вокруг него мало работают, что он и сам хотел бы потрудиться, но ему мешают разные

обстоятельства, надо предполагать, что он считает себя и других способными к деятельности; другими словами, что он допускает не только возможность, но и действительное существование тех условий, без которых она не мыслима. Но на деле оказывается противное. Взгляды, между которыми делятся образованные слои нашего общества на группы, отрицают, прямо или косвенно, самые условия деятельности. Как это ни странно покажется, но это так. В вопиющем противоречии убеждений и стремлений, дела и его предпосылок, и заключается та наша удивительная особенность, которой нет подобной в целом мире. Насущные потребности и здравый смысл толкают нас на труд, на работу, а взгляды, теории отвергают самые основы труда, доказывая, по всем правилам искусства, их несостоятельность и невозможность.

Настроения, господствующие в нашем образованном обществе, колеблются между двумя мирозерцаниями, которые и определяют наши теоретические воззрения. По одному из них – условиями материального мира определяются явления мира духовного. Как первый, так и последний одинаково подчинены закону роковой связи условий и их неизбежных последствий. Этим самостоятельная и самодеятельная личность отрицается в самом принципе. Противоположное этому мирозерцание видит в материальном мире нечто вовсе не существенное; существенным же, имеющим действительное бытие, считает один духовный мир, выносит его за пределы материальной природы и признает недоступным положительному научному исследованию, которому будто бы подлежат только явления материальной природы. По этому воззрению, знание явлений духовного порядка может быть лишь непосредственным, а не результатом индукции,

– 309 –

потому что это знание основано на личном, субъективном сознании, факты которого не подлежат критической проверке. Положительная наука, по тому же взгляду, ограничена пределами естествоведения и не в состоянии подняться до анализа и критики явлений духовного мира. Оба мирозерцания исключают друг друга. Только в этом и состоит их тесная взаимная связь. Чтобы понять, почему каждое из них ставит свои положения так односторонне, стоит только их сопоставить и сравнить между собою: смысл обоих тотчас же вполне выяснится. Одно смешивает положительное знание с естествоведением и, на основании этого смешения, отрицает объективность личного сознания и самопроизвольности. Другое, не споря против такого отождествления положительного знания с естествоведением, признает, вследствие того, явления духовного мира недоступными положительной науке и сводит знание этих явлений на непосредственное личное убеждение, не подлежащее научной проверке. Деятельная, творческая сторона человека отрицается обоими мировоззрениями, но различным образом – одним прямо, другим косвенно. Доктрина, сводящая весь мир духовных явлений к законам внешнего мира, последовательно приходит к чистому фатализму. В самом деле, если нет самопроизвольности, хотя бы в самой ограниченной доле, если каждое духовное явление есть роковой результат внешних явлений и невольная причина роковых последствий, то всякое усилие поставить цель и стремиться к ее достижению есть не более как самообольщение, мираж ума, который не может же вечно продолжаться и должен когда-нибудь разоблачиться перед научной критикой; а раз эта минута настала, – самое стремление ставить цели, самая решимость бороться с препятствиями к их достижению

должны исчезнуть. Не пробуем же мы схватить рукою луну! Другая доктрина, перенося действительно сущее из реальных индивидуальностей в метафизическую сущность, тоже приводит к фатализму, потому что, при таком взгляде, источником деятельности, творчества, является не реальный, действительный человек, а метафизическая сущность. Правда, доктрина не отрицает самостоятельности и самодеятельности отдельного, индивидуального лица; но она не определяет и не может определить доли той и другой, которая ему остается за перенесением центра их тяжести в метафизическую сущность.

– 310 –

Здесь не место критически рассматривать и оценивать научное достоинство обоих мировоззрений. Истинны они или ошибочны, – это вопрос, который может быть решен только при помощи правильной теории познания, до сих пор еще, как известно, не установившейся окончательно. Оставим этот вопрос в стороне и обратимся к тому, что нас теперь занимает.

Из двух наших основных мировоззрений одно отрицает самодеятельность, другое – возможность объективного научного исследования явлений духовного мира. Спрашивается: как согласить с этими взглядами потребность в творческом, осмысленном труде? Разве осмысленная деятельность, творящая новое, возможна, когда в принципе отрицается самопроизвольность и когда область положительной критической науки ограничивается одними материальными явлениями? К какому периоду истории рода человеческого мы бы ни обратились, везде и всегда господствующие мировоззрения, строй убеждений, течение мыслей отвечали живым потребностям времени. Всякая мысль, по существу своему, есть как бы пятка, на которую человек опирается в борьбе с окружающей действительностью и с самим собой. Мыслью определяются его внутренние и внешние отношения, и в этом заключается великое, творческое значение теории. Самые, по-видимому, отвлеченные философские системы находились в общении такого рода с деятельною стороною людей. Они переносили в мир отвлеченностей, часто в форме, трудно доступной большинству, то, чем в данную минуту бились живые человеческие сердца. Везде и всегда действительные потребности заставляли людей подходить к философской истине именно с такой-то, а не с другой стороны, оттенять с особенною яркостью именно этот, а не другой ее закон. Одни мы точно составляем изъятие из общего правила. Требования времени настоятельно толкают нас на развитие нравственной личности, самостоятельной и самодеятельной – этой основы не только гражданского и общественного, но вообще всякого человеческого существования; а наши мировоззрения находятся в вопиющем противоречии с этой насущною потребностью. Вместо того, чтоб работать нам в руки, они нас задерживают, нам мешают, парализуют в самом зародыше наши поползновения к деятельности.

Не без некоторой зависти смотрим мы, и с этой стороны, на Западную Европу. И есть чему позавидовать! Сумела же она выработать свои доктрины так, что они раз в раз

отвечали и отвечают живым потребностям, идут с ними рука об руку, освещают, направляют их и ведут к сознательному, возможно правильному их удовлетворению в данное время и при данных обстоятельствах. Народится другое племя, явятся новые потребности, и мысль, теория снова спешат им на подмогу, создаются новые мировоззрения, новые доктрины, выдвигающие на первый план другую сторону истины, или другой закон, остававшийся до тех пор в тени, незамеченным, потому что не было повода, нужды обращать на них внимание; а пришло время, – и вот вся зоркость мысли, все силы науки устремляются на них. Так было в Европе всегда, так ведется и теперь. Теория и практика, системы и насущные потребности живут там не в разладе, а в тесном единении. Кажущаяся и действительная односторонность европейских мирозерцаний объясняется именно этим бесценным их свойством – тесной связью с живою действительностью, с насущными потребностями.

Всем известно, из каких элементов сложилась европейская жизнь и развилась европейская культура. В основание европейской общественности легла сильно развитая личность. Личная независимость, личная свобода, возможно-нестесненная, всегда были исходной точкой и идеалом в Европе. Весь ее гражданский и политический быт, сверху донизу, был построен на договорах, на системе взаимного уравнивания прав. Европа долго боролась, прошла через целый ряд глубоких потрясений, прежде чем ей наконец удалось справиться с разрозненностью и замкнутостью враждебных друг другу союзов, ввести их в некоторые границы и подчинить условиям правильно организованного государства. Пока государственный принцип не выработался, связующим звеном служили римско-католическое вероучение и церковь, представитель влияния и власти христианства посреди разрозненного европейского мира. По образцу других союзов, церковь, с папою во главе, сложилась в Европе в сильную, крепко организованную корпорацию, которая по своему значению возвышалась над всеми прочими и держала весь европейский мир в своих руках. Но власть ее мало-помалу обратилась в нестерпимый гнет; вера и христианское учение стали служить ей благовидным предлогом для неслыханных злоупотреблений, так что римское католичество стало напоследок синонимом подавления свободы мысли и совести и вопиющего извращения евангельских истин. Это вызвало сначала протесты, которые

постепенно перешли в открытое восстание и кончились отпадением значительной части европейского населения от римско-католической церкви. Борьба эта, длившаяся столетия и продолжающаяся отчасти и до нашего времени, имела, по самому свойству вопросов, о которых шла речь, преимущественно теоретический характер и велась сначала на богословской, а потом на научной почве. Мысль и совесть, опутанные тысячею цепей, рвались на свободу, опираясь сперва на текст и смысл священного писания, а впоследствии орудием борьбы явились доводы науки, знания. Эти теоретические споры,

богословские и научные, и привели наконец европейское общество к гражданской и политической независимости от римско-католической церкви и главы ее – папы.

Вот условия, придавшие европейской мысли ее оригинальный, своеобразный склад.

Сильно поставленная индивидуальность и естественное ее последствие – замкнутая корпорация – тормозили дело политического и гражданского объединения. Поэтому, когда время пришло, мысль обратилась в Европе на то, что особенно озабочивало людей, – на выработку объективного права, в противоположность субъективным, личным притязаниям. Потому-то первое, а не последнее так ярко выдвинуто европейской мыслью и наукою на первый план. Об индивидуальном, личном нечего было заботиться, оно и без того слишком выпукло заявляло себя всюду, и обстаивать его теоретически не было никакой надобности. Как предполагаемая и более или менее враждебная началу объединения, личность, индивидуальность и оставлена наукою в стороне: наука занялась преимущественно общим, объективным, сравнительно более слабым, пришла к нему на помощь и обставила его теоретически с особенным вниманием.

Точно так же, и по сходным причинам, особенно тщательно разработан в Европе вопрос знания, объективной истины, а истина индивидуальная, вера, личное убеждение, заслонены, оставлены в тени. Протестовать и бороться против гнета римской церкви можно было, особенно сначала, не иначе как стоя на одной с нею почве и употребляя против нее ее же оружие – толкование священного писания; а такое толкование мало-помалу превратило спор из богословского в научный. Объяснениям духовенства стали противопоставляться объективные научные доводы; сила и авторитет последних, веских самих по себе, усиливались еще недоверием к толкованию тех, кто

– 313 –

считался исключительно уполномоченным проповедником истин веры. Так, вследствие несносного ига и злоупотреблений церкви, вера, личное убеждение стали исподволь резко противопоставляться объективной, научной истине; их естественное различие превратилось в отрицание веры и личного убеждения и в присвоение характера истины исключительно результатам научного, объективного исследования. Таким образом, в научном знании выковалось оружие для борьбы с церковью точно так же, как в политических и гражданских учреждениях выработаны средства для борьбы с индивидуальностью и корпорациями. По ходу вещей, полемика с церковью заострилась в отрицание личного, субъективного убеждения, а выработка государства и его враждебное отношение к личному произволу и самостоятельным корпорациям – в отрицание индивидуальности, принципа самостоятельности и самопроизвольности. Недоверчивость, подозрительность ко всему, что прямо или косвенно касалось внутреннего, психического мира, накопившиеся веками, придали критической стороне ума особенную тонкость, чуткость и преимущественно отрицательный склад и сузили науку, положительное знание. Отбиваясь от метафизики и схоластики, на которые главным образом опиралась церковь, наука искала и для себя твердой, несокрушимой точки опоры и нашла ее наконец в неизменных законах природы, менее сложных, чем психические, и более доступных для исследования. Что только математические и естественные науки считаются

положительными, это объясняется не самым существом этих наук, а историческими обстоятельствами, при которых развилось в Европе научное знание. Между тем предрассудок этот укоренился и пережил условия, которые его породили. И не он один дожил до нашего времени. Из той же эпохи борьбы знания с римской церковью унаследована нами злосчастная мысль, будто естественные науки не могут иначе как отрицательно относиться к явлениям духовного, психического мира, будто материальное и психическое, духовное исключают друг друга. Вековую борьбу знания с римским католицизмом объясняется также, почему все явления и законы, неизвестные в материальном мире, вычеркнуты из науки как иллюзии или ошибки.

Многое изменилось в Европе со времени этой борьбы. Резкости и крайности, ею вызванные, значительно сгладились; но первоначальная закваска сохранилась. Она невидимо проникает всю европейскую мысль, дает ей тон

– 314 –

и склад, слышится беспрестанно во всем и держится тем упорнее, что исторические предпосылки ею давно забыты.

Спрашиваем: имеет ли такая постановка вопросов и вся эта борьба с ее последствиями хоть что-нибудь общее с тем, что мы видели и видим у себя?

Чрезмерным развитием личной энергии, железною стойкостью лица, его необузданным стремлением к свободе, его щепетильным и ревнивым охранением своих прав мы, кажется, никогда не имели повода хвалиться. Юридическая личность у нас, можно сказать, едва народилась и продолжает и теперь поражать своею пассивностью, отсутствием почина и грубейшим, полудиким реализмом. Во всех слоях нашего общества стихийные элементы подавляют индивидуальное развитие. Не говорю о нравственной личности в высшем значении слова: она везде и всегда была и есть плод развитой интеллектуальной жизни и всюду составляет исключение из общего правила. Нет, я беру личность в самом простом, обиходном смысле, как ясное сознание своего общественного положения и призвания, своих внешних прав и внешних обязанностей, как разумное поставление ближайших практических целей и такое же разумное и настойчивое их преследование. И что же? Даже в этом простейшем смысле личность составляет у нас почтенное и, к сожалению, редкое изъятие из общего уровня крайней распушенности во все стороны. В нас аппетиты часто бывают развиты до болезненности, но нет ни охоты, ни способности трудиться, с целью удовлетворить им, бороться с препятствиями, отстаивать себя и свою мысль. Оттого, в ходе общественных и частных наших дел, нет ни обдуманной системы, ни даже последовательности, нет преемственности от поколения к поколению, и потому нет капитализации труда, знания и культурных привычек. Сменились люди, и дело пропадает; все идет совсем иначе, до тех пор, пока случай не натолкнет опять на то же дело другого человека, который выкопает его из-под спуда, стряхнет с него архивную пыль и опять пустит в ход, чтоб после него оно снова было брошено и забыто. Так как в нас самих нет никакой устойчивости, то ее нет и быть не может и в нашей обстановке, которая всегда есть живое отражение человека и общества. Мы вечно фантазируем, вечно отдаемся первой случайной прихоти, меняя их

беспрестанно. Мы жалуемся на обстановку, на злую судьбу, а особенно на всеобщее равнодушие и безучастие ко

– 315 –

всякому доброму и полезному делу. Но ведь и всем, подобно нам, желалось бы, чтоб дело делалось само собою, чтоб жизнь несла нам дары труда и образованности без всякого с нашей стороны участия в черной работе. И вот, мы прячемся за ход вещей, за логику событий, которые должны работать за нас. Так и выходит на самом деле: все делается как-то само собою, помимо нас, но зато совсем не так, как бы нам хотелось. Стихийные силы, не управляемые человеком, приносят нам, вместо того, о чем мы мечтаем, самые причудливые неожиданности.

Излишнюю пытливость и смелостью мысли, чрезмерным напряжением и развитием умственной деятельности, перехватывающей через край, переступающей сильным размахом границы возможного, – этими недостатками мы тоже не страдаем. Напротив, мы слишком мало думаем, элемент мышления равен у нас почти нулю, не принимает почти никакого участия в наших делах и предприятиях, а потому и не входит определяющим, существенным элементом в наше мирозерцание и нашу практическую деятельность. До последнего времени мысль была у нас прихотью достаточных классов, избранных людей, которые одиноко стояли в среде, погруженной в ближайшую грубую непосредственность и жившей одними преданиями и рутинной. Как прихоть, мысль и носилась у нас свободно над действительностью, нигде и ни за что не зацепляясь, ни в чем не встречая преграды, как ветер на наших необозримых равнинах. Не будучи прикована к нашим ежедневным нуждам, трудам и заботам, не имея балласта, она легко улетучивалась в фантазию и бред. Исподтишка мы подсмеивались над узкостью европейской мысли, над ее точностью и педантизмом, не подозревая, что в Европе мысль не забава, как у нас, а серьезное дело, что она там идет рука об руку с трудными задачами действительной жизни и подготавливает их решение. Только мысль, подобно нашей, служащая игрушкой, способна испаряться в широкие отвлеченности, терять почву из-под ног; там, где она запряжена в тяжелый воз ежедневной жизни, она по необходимости и узка, и одностороння. Мы же воображаем, что широкими отвлеченностями решаются мировые вопросы; нам и в голову не приходит, что совсем напротив, с ними люди, на деле, только бесплодно вертятся в пустоте, убаюкивая свою лень. Призраками, которые мы считаем последним словом науки, мы только благовидно оправдываем наше высокомерное и

– 316 –

безучастное отношение к нашей печальной ежедневности.

Ясно, что не у нас, не на нашей почве, могли развиваться, в виде научных воззрений, отрицание самостоятельной и самодеятельной личности, отрицательное отношение к положительной науке и критическому исследованию явлений духовного порядка. Не может теория, развившаяся под влиянием действительных, насущных потребностей, отрицать самодеятельность там, где она вовсе себя не заявляла в жизни; не может она скептически относиться к таким или другим применениям мысли, устанавливать границы между личным убеждением и объективным знанием там, где мышление и наука являлись лишь в виде экзотического растения. В такой стране самостоятельное мировоззрение, отвечая на действительные потребности, заявляющие себя в бессознательных и полусознательных стремлениях, станет, напротив, с особенной заботливостью и тщанием выяснять начала нравственной индивидуальности, личности и автономии мышления, подавляемых стихийным характером среды, в которой они, по недостатку точки опоры, расплываются и теряются. Мы поступаем иначе. Принимая из Европы без критической проверки выводы, сделанные ею для себя из своей жизни, наблюдений и опытов, мы воображаем, будто имеем перед собой чистую, беспримесную научную истину, всеобщую, объективную и неизменную, и тем парализуем собственную свою деятельность в самом корне, прежде чем она успела начаться. Еще недавно мы точно так же относились к европейским учреждениям и нравам, пока наконец опытом не убедились, что обычаи и учреждения везде и всегда носят на себе отпечаток страны, где они образовались, и живые следы ее истории. Но относительно науки мы далеко еще не успели разделаться с старым предрассудком и остаемся в убеждении, что она составляет исключение из общего правила. Отнесись мы к ней критически, мы тотчас же заметили бы, что она, как и все на свете, имеет свои особенности, что и она одностороння: одно оттеняет слишком ярко, на другое не обращает должного внимания; что она тоже имеет свои предубеждения и предрассудки. Недостаток серьезной критики европейской науки и ее исторического развития мешает нам в то же время взвесить и оценить как следует ее действительно сильную сторону, на которую было указано выше. Великое значение европейской науки заключается не в непогрешимости ее результатов, а в том, что она

– 317 –

выросла и развилась из живых потребностей среды и времени, что она соответствует им и на них работает. Оттого наука в Европе – народное дело, оттого она там и в великом почете.

Мы считаем себя европейцами и во всем стараемся стать с ними на одну доску. Но чтоб этого достигнуть в области науки и знания, нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека в окружающей среде и над самим собой. Ту же роль должны мысль, наука играть и у нас; но для этого нам надо прежде всего критически взглянуть на результаты европейской мысли, доискаться до ее предпосылок, всюду подразумеваемых и нигде не выраженных. В них скрыта живая связь теоретических задач и практических потребностей. Уяснив себе таким путем историческую сторону европейской науки, мы поймем, что и она, как всякая другая наука, не есть сама безусловная истина, а обусловленный обстоятельствами и степенью знания ответ на

вопрос, тоже родившийся в данное время и посреди известной обстановки, следовательно, тоже не безусловный. Убедившись в этом, мы освободимся от научного фетишизма, который подавляет у нас самостоятельное развитие науки и знания, и вынуждены будем, по примеру европейцев, вдуматься в источники зла, которое нас гложет. Тогда нетрудно будет указать и на средства, как его устранить или ослабить. Такой путь будет европейским, и только когда мы на него ступим, зародится и у нас европейская наука; с тем вместе выводы знания перестанут у нас быть такими безрезультатными, как теперь, а свяжутся, как в Европе, с решением важнейших наших вопросов. Очень вероятно, что выводы эти будут иные, чем те, до каких додумалась Европа; но, несмотря на то, знание, наука будут у нас тогда несравненно более европейскими, чем теперь, когда мы без критики принимаем результаты исследований, сделанных в Европе. Предвидеть у нас другие выводы можно потому, что условия жизни и развития в Европе и у нас совсем иные. Там до совершенства выработана теория общего, отвлеченного, потому что оно было слабо и требовало поддержки; наше больное место – пассивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам предстоит выработать теорию личного, индивидуального, личной самодеятельности

– 318 –

и воли. В Европе, в силу исторических обстоятельств, личное, субъективное убеждение оставлено в тени; нам, по нашим историческим условиям, надо, напротив, с особенным вниманием разработать вопрос о субъективной истине, высвободить ее из-под давления истины объективной, возратить ей права, отнятые по ошибке и недоразумениям, и самым точным образом разграничить между собою тот и другой вид истины. Словом, мы должны делать то же и так же, как европейцы: путем науки, исследования, знания мы должны выдвинуть на первый план не то, чем мы сильны, а то, чем мы слабы. У нас лицо расплывается в стихийных элементах; стало быть, все наши умственные силы и вся наша творческая деятельность должны быть направлены на то, как бы его укрепить и развить. Только когда у нас разовьется индивидуальное начало, когда народится и на Руси нравственная личность, может измениться и наша печальная ежедневная действительность. Теперь наша практика представляет либо рутинное, бессознательное продолжение привычек, имевших когда-то свое значение, но с изменившимися обстоятельствами потерявших смысл, или же бесплодное отрицание неприветной действительности; тогда наша практическая деятельность превратится в воспроизведение в реальном мире преобразующей, просветляющей и обновляющей мысли.

Время идет и берет свое. И у нас мало-помалу знание перестает быть делом одной любознательности, предметом приятной беседы, занятием просвещенного досуга. Жизнь становится сложнее, практические вопросы, помимо нашей воли, напрашиваются на практическое решение. Мы тоже должны наконец так или иначе научиться самому тяжкому и мучительному делу из всех – серьезно и глубоко думать. Наступает время, когда мы должны будем перестать верить с чужого голоса, будто только и есть положительная наука, что математика и естествоведение с их прикладными техническими отраслями; что психическая, духовная сторона человека, которая теперь многим из нас представляется чем-то далеким, туманным и в сущности ненужным, на самом деле играет в практической жизни огромную роль и имеет на нее, конечно, не менее влияния, чем

знание математики и материальных свойств тел. Уже теперь нам нельзя больше довольствоваться готовыми решениями и формулами европейской науки; часто приходится нам строго проверять их; но выполнить эту работу за нас никто не может, всего менее

– 319 –

европейцы. У них предпосылки науки, чуждые нам, выстраданы целыми веками, передавались по наследству из поколения в поколение, всосались в плоть и кровь и обратились во вторую природу до того, что <они> их сами не замечают; у нас же они невольно бросаются в глаза, при малейшем внимании. Нас они до сих пор только потому не поражали, что мы еще не доросли до научной критики, и наука у нас, в глазах очень многих, к сожалению, все еще больше предмет роскоши, без которого можно, пожалуй, и обойтись.